

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

ГЛАВЫ

из

РОМАНА



В
мемуарах
Булгакова

Михаил Афанасьевич Булгаков широко известен как драматург и еще совсем недавно был почти неизвестен как прозаик.

Зрители, восторженно аплодировавшие его пьесам, с нетерпением ожидавшие от него новых подарков, даже не подозревали, что в его письменном столе лежит немало солидных произведений, по своему мастерству ничем не уступающих его драматургии. Не знали они даже, что пьеса «Дни Турбиных», десятилетиями не сходявшая со сцены МХАТа и внесшая немалую лепту в славу этого театра, написана по мотивам романа М. Булгакова «Белая гвардия». Главы из романа печатались в 1925 году в журнале «Россия», отдельным же изданием он так и не появился.

Как прозаика Булгакова узнали сравнительно недавно, спустя много лет после его смерти: в 1962 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла его книга о Мольере, за ней последовали «Записки юного врача» (1963). А в 1965 году в журнале «Новый мир» был напечатан его «Театральный роман» (незадолго перед тем «Литературная Россия» опубликовала главу из этого блестящего, полного юмора произведения). В ближайшее время в издательстве «Художественная литература» выйдет одноименный произведений Михаила Булгакова. В него войдет и «Белая гвардия».

Действие этого романа происходит в Киеве в годы гражданской войны, когда на украинскую землю, только что обновленную грозой революции, зарвались немецкие оккупанты, претендовали на власть гетман Скоропадский и Петлюра. Ничтожность этих «властителей», их обреченность перед лицом народа и истории с беспощадной яркостью показана Булгаковым в его «Белой гвардии». Ирония и сарказм проявляются даже в самом заглавии романа.

Сегодня мы печатаем фрагменты из этой более сорока лет назад написанной книги, еще раз свидетельствующие о большом таланте и мастерстве Булгакова-прозаика, о разнообразии образительных средств в его творческой палитре.

Публикация Е. С. БУЛГАКОВОЙ

В зиму 1918 года Город жил странною, неестественною жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в XX столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои, давнишние, исконные жители жалели и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.

Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.

Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры-миниматор, на подостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный, до белого утра гремевший тарелками, клуб «Праха» (поэты — режиссеры — артисты — художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закоканированных проституток.

Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых боялись и уважали. Играли арцы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висевшие на волоске помешки. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы — бархатные. Лампы, увитые цыганскими шальями, бросали два света: вниз — белый электрический, а вверх и вперед — оранжевый. Звездю голубого пыльного шелку разливался потолок, а голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жеваным кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето 18-го года по Николаевской шаркали дутые лихачи, в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями темно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау».

И все лето, и все лето напирала и напирала новье. Появились хрядеватобелье с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной думы в пенсне, б... со звонкими фамилиями, бильярдные игроки... водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак.

Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу (ни один черт не знал, к стати говоря, что в ней

творится и что это за такая новая страна — Польша) в Германию, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах.

— А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный кордон... И хлынут серые. Ох, страшно...

Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко, далеко слышались мягкие удары пушек — под Городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах:

па-па-пах.

Кто в кого стрелял — никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крекшатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.

Увидая их, радовались, и успокаивались, и говорили далекие большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки!

— А ну, суньтесь!

Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели купцы, банкиры, промышленники... домовладельцы, кокотки, члены государственного совета...

Были офицеры. И они бежали и с севера, и с запада — бывшего фронта — и все направлялись в Город, их было очень много и становилось все больше. Рискуя жизнью, потому что им, большею частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в Городе с травлеными взорами, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные старые жители этого города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, — отдыхать, отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь, и были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них — кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары — выплывали легко в мутной пене потревоженного Города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонях, и за гетманскими столами усаживалось до двухсот масляных проборов людей, сверкавших гильями желтыми зубами с золотыми плочками. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные, резного дуба квартиры в лучшей части Города — Липках, рестораны и номера отелей...

Другие, армейские штабс-капитаны конченных и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Най-Турс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов-Карась, сбитых с винтов жизнью войной и революцией, и поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор

Викторович Мышлаевский. Они, в серых потертых шинелях, с еще незажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в Город и, в своих семьях или в семьях чужих, спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку.

Были юнкера. В Городе к началу революции оставалось четыре юнкерских училища — инженерное, артиллерийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицы искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, не детей и не взрослых, не военных и не штатских, а таких, как семнадцатилетний Николка Турбин...

Так-то вот, незаметно, как всегда, подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а событие, и было оно на первый взгляд совершенно незначительно.

Именно в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры № 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все.

Вот и все! И из-за этой бумажки — несомненно, из-за нее! — произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние, ужас... Ай, ай, ай!

Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование — Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918 — февраля 1919 годов называли на французский несколько манер — Симон. Пршлось Симоно было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер.

— Нет, счетовод.

— Нет, студент.

Был на углу Крекшатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами. Так вот нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изданию стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили:

— Ничего подобного. Он был уполномоченным союза городов.

— Не союза городов, а земского союза, — отвечали третьи, — типичный земгусар.

Четвертые (приезжие), закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали:

— Позвольте... позвольте-ка...

И рассказывали, что будто бы десять лет назад... виноват... одиннадцать, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленир. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленире. Что будто бы шел он на хорошую интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливочкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным Гричем...

«...Ой, не хо-д-и...»
Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места...

— Вы говорите, бритый?

— Нет, кажется... позвольте... с бородкой.

— Позвольте... разве он московский?

— Да нет, студентом... он был...

— Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он был в Тараше народным учителем...

Фу ты, черт... А может, и не шел по Бронной. Москва — город большой, на Бронной туманы, изморозь, тени... Какая-то гитара... турок под солнцем... кальян... гитара — дзинь-трень... неясно, туманно... ах, как туманно и страшно кругом.